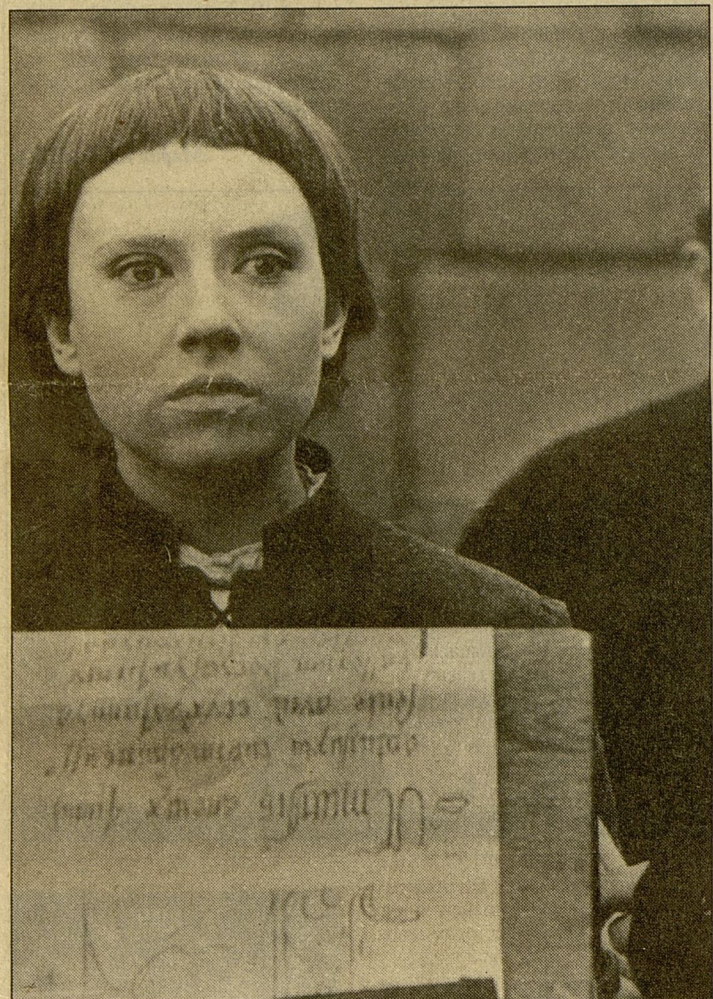


Инна Чурикова. Начало и продолжение



Инна на суде инквизиции («Начало»)

— Инна Михайловна, первым у меня к вам немного бестактный вопрос: почему вы так редко и неохотно встречаетесь с журналистами?

— Интервьюеров я избегаю, но иногда читаю высказывания о том, что делаю. И, бывает, страшно жалко, что прочла: словно бензин в лицо плеснули. Но, с другой стороны, я сама выбрала такую профессию.

— Сказанное вами в «Начале» шестидесятых оказалось пророческим. В долгие «потом» поколения — та же ненужность признания, крест талантов, безуспешные поиски смысла и места, одиночество, но одновременно — стойкость какая-то генетическая. Вот и героиня «Плаха Казановы» в конце восьмидесятых приезжает в Венецию не как в конкретный, пусть и волшебный город, а в свою мечту о нем. И образ этот замыкает, думается, некий временной круг, важную тему поколения.

— У нас так долго все было закрыто, что только и оставалось жить в своей мечте. Я понимаю ту женщину как человека непрактического. Италия, ее язык, искусство, книги — дверь, куда она входила, дверь в параллельный мир. В фильме есть кадр — я глажу стену моста венецианского — это же духовное, любовное отношение. Почему она и полюбила — тот мужчина для нее часть Италии. И после всей тяжелой истории любовь ее не умерла.

— Это близкий вам тип человека?

— Очень. Очень...

— Какой была в вашей жизни самая памятная рецензия?

— В Петрозаводске в зале среди зрителей была женщина, у которой шла тяжелейшая полоса. И она верила, что после встречи со мной ее неприятности кончатся.

— Как вам удалось войти в параллельный мир героев? Только ли это актерский дар?

— Не знаю. Мне кажется, это всем дано. Я верю, что все происходит со мной.

— И с Жанной Д'Арк так было?

— Жанну я так и не сыграла. Много пробовала. Ушло с возрастом. Это, я считаю, на ответственности Госкино, Ермаша. Сценарий не был принят. И это для меня огромная утрата. Там были замечательные вещи, и мы бы сняли замечательный фильм. Почему не приняли? Ну а как? Она же веровала в Бога. Веровала в святую Екатерину, святую Маргариту, в святого Михаила. Святой Михаил приходил к ней, в сценарии он, святой, ходил по земле. Правда, под плащом у него было два крыла.

— Что еще не состоялось? Тоска вспоминать все это. Четыре года не выпускали «Девушек в голубом» Петрушевской. Четыре года начальство вставало и уходило посреди любовной сцены. Некий месье Грибков, по-моему. Памяти о них нет, но жалко их, бедных, они ведь тоже за чем-то жили. Даже неизвестно, какой у них вкус собственный.

— Когда спектакль все-таки выпустили, зритель разделился на две части. Одна была в шоке, а у другой — почти что катарсис. Мне говорила одна зрительница: я смотрела три раза ваших «Девушек в голубом». Олин раз даже не видела артистов, я понимала, что это про меня. Такое чувство боли внутреннее, что это я так живу, я так конфликтую с матерью, почти до смерти. Это любовь до смерти называется.



Последние штрихи к костюму королевы Гертруды («Гамлет»)

Каждая отстаивает свое право, только у дочери молодой не хватает сил послушать мать, и простить ей все, и не обижаться на нее.

А потом, спустя какое-то время, зритель спектакль смотрел одинаково! Хохогал, смеялся. Как же реакция меняется, вот что интересно! Где раньше шок — теперь хохот. А потом Татьяна Ивановна Пельцер, любимая наша, единственная, заболела. Мы не могли представить, чтобы вместо нее на сцену вышла другая актриса.

— У вас нет ностальгического чувства к тому времени, когда зритель искал в театре ответ на вопрос «чем спасаться?» и думал о служении близкому, например?

— Я думаю, люди и сейчас тоскуют по ориентирам. Но то, что мы приписываем ушедшим временам, — как люди друг друга помогали, какие все были трогательные и чудные — иллюзия. Нам свойственно желать иллюзий, потому что правдивый мир грубее, непривлекательнее. А нынешний зритель... Мы играем «Сорри» с Караченцовым, такое чувство, что улетает всех включить в действие. Может быть, потому что спектакль о любви — признание, убагивание, обман, правда, полуправда — какая-то любовная несуровица и стремление найти живое, настоящее, искреннее чувство, положиться на него, схватиться за него. Но друг к другу люди действительно стали равнодушнее. Могут не навредить, но одновременно — не помочь. Не делать дурного, но не делать хорошего — это есть дурное наше. Относимся друг к другу — никак. Как там у Шекспира: «Из ничего не выйдет ничего». Ничто. Ничка.

— Добро и зло — вечная тема искусства. В жизни же мы говорим «ло-

бый человек» или «злой человек», не задумываясь особенно — что за этим? Как вы думаете, сложнее делать добро или зло?

— Добро, конечно. Это неимоверно трудная работа. Надо расколоться, тратить силы, душу, забывать про себя.

— У вас напряженная творческая жизнь, семья завидная, муж, сын. Но в работах ваших есть сквозное, лезящее одиночество...

— Глеб Панфилов мне очень близок, даже не хочу называть его «супруг», он прежде всего друг, потому что я разделяю его способ мыслить. Тем не менее... Чувство одиночества в мире — оно дано каждому. Каждый понимает временность своей жизни и чем все заканчивается, и размышляет о жизни своей, одинокой жизни там. Размышляет один, нас, увы, к этим мыслям не готовили...

— Какие у вас отношения с темой возраста? Считаете ли вы, что с годами люди становятся мудрее, уходят наносное, вздор житейский?

— Огромного счастья от осознания уходящего времени я не испытываю. Конечно, с одной стороны — становишься мудрее, а с другой — глупее. Теперь иногда испытываю новое чувство — словно в детстве устремляешься, неизвестным путем опять туда идешь.

Мое мнение о молодежи совсем не совпадает с тем, что пишут о ней газеты — агрессия, потерянный, наркотик и так далее. Я чувствую, что мой сын чаще всего бывает разумным. Я люблю с ним побеседовать, люблю, люблю, — и с ним, и с его друзьями.

С Инной Михайловной ЧУРИКОВОЙ мы разговаривали в ее театре, по-летнему безлюдном, замершем, в ее примерной, нежилой до осени, очень чисто убранной, без личностных примет. Но зеркала этой тесной комнаты содержали нематериальное: смену образов и задач, развитие действия в этой взволнованной и блистательной актерской судьбе...

— Глеб Анатольевич, ваш муж, я знаю, давно без работы. Все поменялось. Теперь никто за спиной вашей не скажет завистливо: ну что у нее за проблемы, когда муж — режиссер.

— Слава Богу, нашлись, кажется, деньги на его фильм. Сценарий давным-давно готов, тема успела войти в моду и выйти из моды. Тема царской семьи. Но Глеб — человек одной идеи, не умеет размениваться. Так что, если ничего не изменится, начнет снимать.

— Что вы думаете про зрителя, побывавшего на Международном кинофестивале?

— Я несколько картин посмотрела — и как бы не узнаю прежнего зрителя. Все впопыхах как-то, будто постояли в очереди кино посмотреть, посмотрели, и в другую очередь, за продуктами. Люди или мечутся, или не приходят вообще. Немногие теперь смотрят кино. Удовлетворяются телевизором. Наверное, надо как-то перестраивать кинотеатры, чтобы людям хотелось там быть.

— Вы были членом жюри в Канаде. В нем, кроме вас, были и другие

актрисы. А здесь в жюри была одна Федосеева-Шукшина.

— Андрон Кончаловский справедливо утверждает, что в этом смысле в России век семнадцатый, а то и шестнадцатый. Только-только начинаем проходить давно миром пройденное. Не случайно понятие «женское кино» встречается в штыхах. Иногда бывает, что мужчина понимает женщину очень тонко. Анатолий Васильевич Эфрос — он же прекрасные вещи чувствовал, рассказывая о женщине. Или Глеб Панфилов. Я считаю, он снимал кино о жизни — для женщин. Не случайно Бергман назвал кинематограф «искусством чувств».

— Вы побывали в Набережных Челнах, где собирались со всей бывшей страны сценаристы, режиссеры, актрисы. Как вам кажется, есть у отдаленных женских фестивалей будущее?

— Там огромное количество людей собралось на каждый фильм. Организован фестиваль был в высшей степени душевно, красиво, с

ИТАР-ТАСС

и все-то — сама. И этот мужчина уходит и говорит на прощанье: «Я разочарован. Я думал, вы женщина, а вы — лошадь». Мы живем в таком качестве, но мало того, считаем, что так и быть должно. Привыкли все везти на себе. Надежда, пожалуй, только на молодых женщин.

— Боже, какая точная и грустная история. В ключе российской нашей правды-кривды. Но не будет ли потеря, если мы начнем жить, как цивилизованный мир, то есть эгоистично?

— Не думаю. Что плохого, когда пожилые, красивые иностранки в розовом и голубом уходят на пенсию и ездят по миру? Заработала деньги, ездит, смотрит.

— Вы когда-нибудь думали об отъезде за границу? Хотя бы из-за сына?

— Куда я могу уехать с той землей, языком которой говорю?

— Многие актрисы уезжают.

— Ну и что? Что они там делают,

— Жаль, что такой сюжет уже невозможен в кино, да и в книжке тоже. Актеры не в моде, тем более добрые, в моде процесс — чем грубее, надуманнее, тем лучше.

— Авторы чувствуют, что обывателю потребнее темное. Такое время. Меня страшно коробит провалы во вкусе. Но делать нечего. Надо, видимо, переболеть, как болеют корью или свинкой...

— Плохо, конечно, что писатели и актеры подстраиваются под вкусы не очень воспитанного зрителя нашего молодого. Да и телевизор, с его бесконечными голыми на экране. Хотя в обнаженном женском теле нет ничего предосудительного. По-моему, это даже цивилизующий фактор.

— Западные феминистки за такую мысль вас растерзали бы.

— Они уже перешли грань разумного. В Америке, я знаю, есть

— Довольно часто. Сейчас вот еду в Томск. Если говорить о гостях, возили «Сорри» в Израиль, где пьесу воспринимали глубоко, трагичнее, чем у нас. Потому что сюжет схож с их жизнью. Там этот «Звонарев уезжает, приезжает и рассказывает свою биографию. Для него война — это жизнь. В Москве уровень «приехал-уехал» уже не так актуален. А в Израиле воспринимается очень драматично.

— Какая работа давалась тяжелее других?

— Я вот дурочку одну сыграла у Меньшова. Мы с ним осваивали какой-то буффонный жанр. Такого труда стоило! Самая для меня трудная работа была. Потому что: клоун в цирке. Это надо было познать, это пока я постигла, и не знаю, постигла ли... Меньшов все время: и так — нет, и так — нет, а я безумно боюсь наигрывать, преувеличивать. Физически не могу себе наигрывать. Нет, не физически. Не знаю, каким органом, где-то глубоко во мне сидит что-то такое, регулятор некий, который не позволяет преувеличивать. И все время мы с Меньшовым беседовали о Чаплине, я говорила — у Чаплина преувеличение всегда психологически оправдано. Шли и шли в этом направлении к моей героине, которая на самом деле не дурочка. Сильно пьющая, правда, но кто сейчас этим удивляется?

— Ваш режиссер, Марк Захаров, недавно в интервью сказал, что вся его жизнь без жены была бы другой и что всеми своими успехами он семье обязан. Вы могли бы так сказать про себя?

— Ну, он прав абсолютно. Семья, если хорошая, очень крепкая опора, он прав.

— Лето, театр на каникулах, а вы в Москве. Почему?

— Ну кто сейчас в отпуске? Кто уезжает в отпуск? Я сижу в Москве, и не из-за фестиваля. А потому, что некуда поехать. На даче ремонт не кончается, который вечный, два месяца, все не могут закончить никак, а всего-то кукольные крохотные, врандочка, балочка. Долгой советский. Так воспитан. Все одно и то же. Одно и то же. Я думаю, мы поэтому в новую жизнь никак вернуться не можем: все то же.

— Они любят много зарабатывать, но работают так же. Вот оно, прямо тощак. Но есть разница — где сидеть. Я в Москве сижу временно, а другие — вообще. Мы живем на Университетском проспекте, пруд у нас есть. И люди там отдыхают. Все Москва. Семьями. Причём с водкой, серьезного отдыха нет. И после этого отдыха — грязь, потому что у нас ведь и разбить любят. Это мы. А говорим — не ходят в кино. Зачем? Сядешь, ящик включишь.

— Евгений Евтушенко в один из фестивальных дней говорил, что в Америке показывает своим студентам два фильма — «Ночи Кабирии» и «Плаха Казановы» — и что считает вас советской Мазиной...

— Да? Я не слышала. Ну зачем он так сказал? «Ночи Кабирии» — фильм фантастический. Как бы мне не нравился мой фильм, сравнивать себя с Джульеттой Мазиной и не могу, и не хочу.

Евгению Александровичу я очень благодарна за давнее. Когда сняли «Начало», в «Советском экране» появилась его рецензия. Совершенно замечательная. Это была грандиозная поддержка...

— Инна Михайловна, спасибо большое за этот разговор. Хотелось, чтобы вы знали — мы, в зале, смотрим на вас с верой и нежностью. Мы вас любим.

Наталья КРАМИНОВА



Инна Чурикова, Глеб Панфилов и их сын Ваня получают Золотой приз XII МКФ в Москве (1983 г.)

участием местных артистов и самодеятельности... танцевальные ансамбли, джаз. Нам сообщают, что в провинции мафия есть, но там есть еще и интеллигенция. Все почти наши звезды приехали, потому что у организаторов — есть в Союзе кинематографистов Рита Беляковская чудесная — такой энтузиазм и вера, такая любовь к женщине как к явлению. Есть отдельные женские проблемы, их надо обсуждать, иногда тихо, без мужичи. Есть многое, о чем надо поговорить, потому что мы сами не понимаем, как живем, а мужчинам не до нас вообще. Мы для них нечто стороннее — помош в быту, продолжение рода. Считаю, так и быть должно. Мне одна француженка говорила: «Почему вы так живете? Ведь жизнь — это радость. Нужно жить для себя».

Гнетущее чувство долга — и есть наша жизнь. Всегда и всем — помогать. Иная уж уже ходит, а все детям помогает.

— Какой женский образ вам особенно интересен?

— Тот, где присутствует своеобразие мыслей, повадок. Я люблю женское своеобразие, люблю умных женщин, но воспринимаю всех абсолютно. Мне со всеми интересно, даже с глупенькими. У глупых женщин есть замечательные открытия в жизни — с точки зрения отношения к мужчинам, домоводства, у них есть свои тайны. Если их доверят, можно и поучиться. Но вообще-то я не встречала совсем глупых женщин.

— Что у вас ассоциируется с понятием «русская женщина»?

— Ассоциируется слово «лошадка». Есть же такой анекдот, доморощенный. Человеку пригласилась женщина, и он пришел к ней в гости. — А вот это кто пригласила? — А это? — Тоже я. Все-то она умеет,

кроме, может быть, Сафоновой? Ну что там за жизнь для меня? Я там не смогу открыть только мне ведомую комнату и жить в мире, который рисует моя фантазия. Я не смогу обиться слезами в той комнате. И буду вынуждена жить во внешней только данности.

...Мне ничего не надо. Я люблю смотреть на унылое пространство, очей очарование, все вроде бы одинаковый пейзаж, ни гор, ни пальм, но так сердцу мил.

А сын... Мне жалко молодых ребят, потому что у нас в будущее не глянуть невозможно. Я не охидала от президента, что он эту войну начнет. Думала, у него есть ощущение, что его молодежь. Чего воюют — непонятно, что-то скрытое есть в этой войне, что-то скрывают. А расплачиваются нашими детьми. Будто мало им Афганистана.

— Каким образом ваш сын не пошел в театральное?

— Сам сказал: нет, актером быть не хочу. Выбрал международное не право — как бы горизонт увидел, который ему интересен.

— Вы ли в людях качества, для вас неприменные?

— Существует такое понятие — «жестокость». Жестокость не выношу. Хотя она вылезает подчас и в самых милых, интеллигентных людях, так воспитаны, мы все немножко этим вынуждены. И еще очень трудно пережить предательство.

— Вы испытывали когда-нибудь в жизни полное счастье?

— Бывает. Иногда — расстаюсь с человеком, иногда — прощаю. Прощаю легко, но не всегда. Иногда — все, человек из жизни навек вырублен. Наверное, это не очень хорошо.

— Вы испытывали когда-нибудь в жизни полное счастье?

— Когда родила сына. У нас папа девять человек, все в платочках, все под одним крапом моем груде, эти нижние рубашки государственные, с несколькими клеймами, вот с таким вырезом — когда у тебя полплеча спускается, в общем, готовимся к свиданию с младенцем. И все время думала о маме. О маме бесконечно думала. Потому что это был вход мой в новое качество свое. И потом, когда их разносили (эти голосочки — флейточки, прелести), и когда сестры их мамам кидали, враскидку, вы помните? Бум, бум, бум... Сестра говорит: «Да бум, бум, бум... Их же можно вы не беспокоитесь. Их же можно подкидывать и так, и так, им не больно». И она кидает мне Ванечку. И мы все силим, кормим, девять баб с разными судьбами. Я помню, там приходил все время пьяный муж к одной женщине. Она говорит: «Ты собаку-то не можешь. Оли выговорить ничего не можешь. Оли муж, другой муж, третий муж. И мы все такие... счастливиенькие...



Гертруда и Клавдий

города, где мужчина глаз от земли боится оторвать, чтобы женщина, не дай Бог, чего плохого не подумала. Что-то в этом есть презренное, которое рисует моя фантазия. Я не смогу обиться слезами в той комнате. И буду вынуждена жить во внешней только данности.

...Мне ничего не надо. Я люблю смотреть на унылое пространство, очей очарование, все вроде бы одинаковый пейзаж, ни гор, ни пальм, но так сердцу мил.

А сын... Мне жалко молодых ребят, потому что у нас в будущее не глянуть невозможно. Я не охидала от президента, что он эту войну начнет. Думала, у него есть ощущение, что его молодежь. Чего воюют — непонятно, что-то скрытое есть в этой войне, что-то скрывают. А расплачиваются нашими детьми. Будто мало им Афганистана.

— Каким образом ваш сын не пошел в театральное?

— Сам сказал: нет, актером быть не хочу. Выбрал международное не право — как бы горизонт увидел, который ему интересен.

— Вы ли в людях качества, для вас неприменные?

— Существует такое понятие — «жестокость». Жестокость не выношу. Хотя она вылезает подчас и в самых милых, интеллигентных людях, так воспитаны, мы все немножко этим вынуждены. И еще очень трудно пережить предательство.

— Вы испытывали когда-нибудь в жизни полное счастье?

— Бывает. Иногда — расстаюсь с человеком, иногда — прощаю. Прощаю легко, но не всегда. Иногда — все, человек из жизни навек вырублен. Наверное, это не очень хорошо.

— Вы испытывали когда-нибудь в жизни полное счастье?

— Когда родила сына. У нас папа девять человек, все в платочках, все под одним крапом моем груде, эти нижние рубашки государственные, с несколькими клеймами, вот с таким вырезом — когда у тебя полплеча спускается, в общем, готовимся к свиданию с младенцем. И все время думала о маме. О маме бесконечно думала. Потому что это был вход мой в новое качество свое. И потом, когда их разносили (эти голосочки — флейточки, прелести), и когда сестры их мамам кидали, враскидку, вы помните? Бум, бум, бум... Сестра говорит: «Да бум, бум, бум... Их же можно вы не беспокоитесь. Их же можно подкидывать и так, и так, им не больно». И она кидает мне Ванечку. И мы все силим, кормим, девять баб с разными судьбами. Я помню, там приходил все время пьяный муж к одной женщине. Она говорит: «Ты собаку-то не можешь. Оли выговорить ничего не можешь. Оли муж, другой муж, третий муж. И мы все такие... счастливиенькие...

— Вы испытывали когда-нибудь в жизни полное счастье?

— Когда родила сына. У нас папа девять человек, все в платочках, все под одним крапом моем груде, эти нижние рубашки государственные, с несколькими клеймами, вот с таким вырезом — когда у тебя полплеча спускается, в общем, готовимся к свиданию с младенцем. И все время думала о маме. О маме бесконечно думала. Потому что это был вход мой в новое качество свое. И потом, когда их разносили (эти голосочки — флейточки, прелести), и когда сестры их мамам кидали, враскидку, вы помните? Бум, бум, бум... Сестра говорит: «Да бум, бум, бум... Их же можно вы не беспокоитесь. Их же можно подкидывать и так, и так, им не больно». И она кидает мне Ванечку. И мы все силим, кормим, девять баб с разными судьбами. Я помню, там приходил все время пьяный муж к одной женщине. Она говорит: «Ты собаку-то не можешь. Оли выговорить ничего не можешь. Оли муж, другой муж, третий муж. И мы все такие... счастливиенькие...

— Вы испытывали когда-нибудь в жизни полное счастье?

— Когда родила сына. У нас папа девять человек, все в платочках, все под одним крапом моем груде, эти нижние рубашки государственные, с несколькими клеймами, вот с таким вырезом — когда у тебя полплеча спускается, в общем, готовимся к свиданию с младенцем. И все время думала о маме. О маме бесконечно думала. Потому что это был вход мой в новое качество свое. И потом, когда их разносили (эти голосочки — флейточки, прелести), и когда сестры их мамам кидали, враскидку, вы помните? Бум, бум, бум... Сестра говорит: «Да бум, бум, бум... Их же можно вы не беспокоитесь. Их же можно подкидывать и так, и так, им не больно». И она кидает мне Ванечку. И мы все силим, кормим, девять баб с разными судьбами. Я помню, там приходил все время пьяный муж к одной женщине. Она говорит: «Ты собаку-то не можешь. Оли выговорить ничего не можешь. Оли муж, другой муж, третий муж. И мы все такие... счастливиенькие...

— Вы испытывали когда-нибудь в жизни полное счастье?

— Когда родила сына. У нас папа девять человек, все в платочках, все под одним крапом моем груде, эти нижние рубашки государственные, с несколькими клеймами, вот с таким вырезом — когда у тебя полплеча спускается, в общем, готовимся к свиданию с младенцем. И все время думала о маме. О маме бесконечно думала. Потому что это был вход мой в новое качество свое. И потом, когда их разносили (эти голосочки — флейточки, прелести), и когда сестры их мамам кидали, враскидку, вы помните? Бум, бум, бум... Сестра говорит: «Да бум, бум, бум... Их же можно вы не беспокоитесь. Их же можно подкидывать и так, и так, им не больно». И она кидает мне Ванечку. И мы все силим, кормим, девять баб с разными судьбами. Я помню, там приходил все время пьяный муж к одной женщине. Она говорит: «Ты собаку-то не можешь. Оли выговорить ничего не можешь. Оли муж, другой муж, третий муж. И мы все такие... счастливиенькие...

— Вы испытывали когда-нибудь в жизни полное счастье?

— Когда родила сына. У нас папа девять человек, все в платочках, все под одним крапом моем груде, эти нижние рубашки государственные, с несколькими клеймами, вот с таким вырезом — когда у тебя полплеча спускается, в общем, готовимся к свиданию с младенцем. И все время думала о маме. О маме бесконечно думала. Потому что это был вход мой в новое качество свое. И потом, когда их разносили (эти голосочки — флейточки, прелести), и когда сестры их мамам кидали, враскидку, вы помните? Бум, бум, бум... Сестра говорит: «Да бум, бум, бум... Их же можно вы не беспокоитесь. Их же можно подкидывать и так, и так, им не больно». И она кидает мне Ванечку. И мы все силим, кормим, девять баб с разными судьбами. Я помню, там приходил все время пьяный муж к одной женщине. Она говорит: «Ты собаку-то не можешь. Оли выговорить ничего не можешь. Оли муж, другой муж, третий муж. И мы все такие... счастливиенькие...

— Вы испытывали когда-нибудь в жизни полное счастье?

— Когда родила сына. У нас папа девять человек, все в платочках, все под одним крапом моем груде, эти нижние рубашки государственные, с несколькими клеймами, вот с таким вырезом — когда у тебя полплеча спускается, в общем, готовимся к свиданию с младенцем. И все время думала о маме. О маме бесконечно думала. Потому что это был вход мой в новое качество свое. И потом, когда их разносили (эти голосочки — флейточки, прелести), и когда сестры их мамам кидали, враскидку, вы помните? Бум, бум, бум... Сестра говорит: «Да бум, бум, бум... Их же можно вы не беспокоитесь. Их же можно подкидывать и так, и так, им не больно». И она кидает мне Ванечку. И мы все силим, кормим, девять баб с разными судьбами. Я помню, там приходил все время пьяный муж к одной женщине. Она говорит: «Ты собаку-то не можешь. Оли выговорить ничего не можешь. Оли муж, другой муж, третий муж. И мы все такие... счастливиенькие...

— Вы испытывали когда-нибудь в жизни полное счастье?

— Когда родила сына. У нас папа девять человек, все в платочках, все под одним крапом моем груде, эти нижние рубашки государственные, с несколькими клеймами, вот с таким вырезом — когда у тебя полплеча спускается, в общем, готовимся к свиданию с младенцем. И все время думала о маме. О маме бесконечно думала. Потому что это был вход мой в новое качество свое. И потом, когда их разносили (эти голосочки — флейточки, прелести), и когда сестры их мамам кидали, враскидку, вы помните? Бум, бум, бум... Сестра говорит: «Да бум, бум, бум... Их же можно вы не беспокоитесь. Их же можно подкидывать и так, и так, им не больно». И она кидает мне Ванечку. И мы все силим, кормим, девять баб с разными судьбами. Я помню, там приходил все время пьяный муж к одной женщине. Она говорит: «Ты собаку-то не можешь. Оли выговорить ничего не можешь. Оли муж, другой муж, третий муж. И мы все такие... счастливиенькие...

— Вы испытывали когда-нибудь в жизни полное счастье?

— Когда родила сына. У нас папа девять человек, все в платочках, все под одним крапом моем груде, эти нижние рубашки государственные, с несколькими клеймами, вот с таким вырезом — когда у тебя полплеча спускается, в общем, готовимся к свиданию с младенцем. И все время думала о маме. О маме бесконечно думала. Потому что это был вход мой в новое качество свое. И потом, когда их разносили (эти голосочки — флейточки, прелести), и когда сестры их мамам кидали, враскидку, вы помните? Бум, бум, бум... Сестра говорит: «Да бум, бум, бум... Их же можно вы не беспокоитесь. Их же можно подкидывать и так, и так, им не больно». И она кидает мне Ванечку. И мы все силим, кормим, девять баб с разными судьбами. Я помню, там приходил все время пьяный муж к одной женщине. Она говорит: «Ты собаку-то не можешь. Оли выговорить ничего не можешь. Оли муж, другой муж, третий муж. И мы все такие... счастливиенькие...

— Вы испытывали когда-нибудь в жизни полное счастье?

— Когда родила сына. У нас папа девять человек, все в платочках, все под одним крапом моем груде, эти нижние рубашки государственные, с несколькими клеймами, вот с таким вырезом — когда у тебя полплеча спускается, в общем, готовимся к свиданию с младенцем. И все время думала о маме. О маме бесконечно думала. Потому что это был вход мой в новое качество свое. И потом, когда их разносили (эти голосочки — флейточки, прелести), и когда сестры их мамам кидали, враскидку, вы помните? Бум, бум, бум... Сестра говорит: «Да бум, бум, бум... Их же можно вы не беспокоитесь. Их же можно подкидывать и так, и так, им не больно». И она кидает мне Ванечку. И мы все силим, кормим, девять баб с разными судьбами. Я помню, там приходил все время пьяный муж к одной женщине. Она говорит: «Ты собаку-то не можешь. Оли выговорить ничего не можешь. Оли муж, другой муж, третий муж. И мы все такие... счастливиенькие...

— Вы испытывали когда-нибудь в жизни полное счастье?

— Когда родила сына. У нас папа девять человек, все в платочках, все под одним крапом моем груде, эти нижние рубашки государственные, с несколькими